

Глава первая

Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192... года (иностраный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — не договаривают единицу), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией. На лбу у фургона виднелась звезда вентилятора, а по всему его боку шло название перевозчицкой фирмы синими аршинными литерами, каждая из коих (включая и квадратную точку) была слева оттенена черной краской: недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу измерение. Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков, чем белья), стояли две особы. Мужчина, облаченный в зелено-бурое войлочное пальто, слегка оживляемое ветром, был высокий, густобровый старик с сединой в бороде

и усах, переходящей в рыжеватость около рта, в котором он бесчувственно держал холодный, полуоблетевший сигарный окурок. Женщина, коренастая и немолодая, с кривыми ногами и довольно красивым лжекитайским лицом, одета была в каракулевый жакет; ветер, обогнув ее, пахнул неплохими, но затхловатыми духами. Оба, неподвижно и пристально, с таким вниманием, точно их собирались обвесить, наблюдали за тем, как трое красновыиных молодцов в синих фартуках одолевали их обстановку.

«Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку», — подумалось мельком с беспечной иронией — совершенно, впрочем, излишнюю, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал. Сам только что переселившись, он в первый раз теперь, в еще непривычном чине здешнего обитателя, выбежал налегке кое-чего купить. Улицу он знал, как знал весь округ: пансион, откуда он съехал, находился невдалеке; но до сих пор эта улица вращалась и скользила, ничем с ним не связанная, а сегодня остановилась вдруг, уже застывая в виде проекции его нового жилища.

Обсаженная среднего роста липами с каплями дождя, расположенными на их частых черных сучках по схеме будущих листьев (завтра в каждой капле будет по зеленому зрачку), снабженная смоляной гладью саженей в пять шириной и пестроватыми, ручной работы (лестной для ног) тротуарами, она шла с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как эпистолярный роман. Опытным взглядом он искал в ней того, что грозило бы стать ежедневной зацепкой, ежедневной пыткой для чувств, но, кажется, ничего такого не намечалось, а рассеянный

свет весеннего серого дня был не только вне подозрения, но еще обещал умягчить иную мелочь, которая в яркую погоду не преминула бы объявиться; все могло быть этой мелочью: цвет дома, например, сразу отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом, а то и халвой; деталь архитектуры, всякий раз экспансивно бросающаяся в глаза; раздражительное притворство кариатиды, приживалки, — а не подпоры, — которую и меньшее бремя обратило бы тут же в штукатурный прах; или, на стволе дерева, под ржавой кнопкой, бесцельно и навсегда уцелевший уголок отслужившего, но не до конца содранного рукописного объявления — о расплыве синеватой собаки; или вещь в окне, или запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить, да так на углу и оставшийся — самой за себя заскочившею тайной. Нет, ничего такого не было (еще не было), но хорошо бы, подумал он, как-нибудь на досуге изучить порядок чередования трех-четырёх сортов лавок и проверить правильность догадки, что в этом порядке есть свой композиционный закон, так что, найдя наиболее частое сочетание, можно вывести средний ритм для улиц данного города, — скажем: табачная, аптекарская, зеленная. На Танненбергской эти три были разобщены, находясь на разных углах, но, может быть, роение ритма тут еще не настало, и в будущем, повинувшись контрапункту, они постепенно (по мере прогорания или переезда владельцев) начнут сходиться: зеленная с оглядкой перейдет улицу, чтобы стать через семь, а там через три, от аптекарской, — вроде того, как в рекламной фильме находят свои места смешанные буквы, — причем одна из них напоследок как-то еще переворачивается, поспешно

встав на ноги (комический персонаж, неприменный Яшка Мешок в строю новобранцев); так и они будут выжидать, когда освободится смежное место, а потом обе наискосок мигнут табачной — сигай сюда, мол; и вот уже все стали в ряд, образуя типическую строку. Боже мой, как я ненавижу все это, лавки, вещи за стеклом, тупое лицо товара и в особенности церемониал сделки, обмен приторными любезностями, до и после! А эти опущенные ресницы скромной цены... благородство уступки... человеколюбие торговой рекламы... все это скверное подражание добру, — странно засасывающее добрых: так, Александра Яковлевна признавалась мне, что, когда идет за покупками в знакомые лавки, то нравственно переносится в особый мир, где хмелеет от вина честности, от сладости взаимных услуг, и отвечает на суриковую* улыбку продавца улыбкой лучистого восторга.

Род магазина, в который он вошел, достаточно определялся тем, что в углу стоял столик с телефоном, телефонной книжкой, нарциссами в вазе и большой пепельницей. Тех русского окончания папирос, которые он предпочтительно курил, тут не держали, и он бы ушел без всего, не оказись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка. Да, всю жизнь я буду кое-что добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за товар, навязываемый мне.

Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел — с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем раду или розу, — как теперь из фургона вы-

* Сурик — красно-оранжевая или красно-коричневая краска.

грузжали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф*, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользкий фасад.

Он пошел дальше, направляясь к лавке, но только что виденное, — потому ли, что доставило удовольствие родственного качества, или потому, что встряхнуло, взяв врасплох (как с балки на сеновале падают дети в податливый мрак), — освободило в нем то приятное, что уже несколько дней держалось на темном дне каждой его мысли, овладевая им при малейшем толчке: вышел мой сборник; и когда он, как сейчас, ни с того ни с сего падал так, то есть вспоминал эту полусотню только что вышедших стихотворений, он в один миг мысленно пробежал всю книгу, так что в мгновенном тумане ее безумно ускоренной музыки не различить было читательского смысла мелькавших стихов, — знакомые слова проносились, крутясь в стремительной пене (кипение сменявшей на мощный бег, если привязаться к ней взглядом, как дельвали мы когда-то, смотря на нее с дрожавшего моста водяной мельницы, пока мост не обращался в корабельную корму: прощай!), — и эта пена, и мелькание, и отдельно пробежавшая строка, дико блаженно кричавшая издали, звавшая, вероятно, домой, все это вместе со сливочной белизной обложки, сливалось в ощущение счастья исключительной чистоты... «Что я, собственно, делаю!» — спохватился он, ибо сдачу, полученную только что в табачной, первым делом теперь высыпал на ре-

* В настоящем издании сохраняются некоторые особенности орфографии и транслитерации Набокова (написание слов шкаф, чорт, квольд, лоун-теннис, мюзик-холль, свэтер, джампер и др.).

зиновый островок посреди стеклянного прилавка, сквозь который снизу просвечивало подводное золото плоских флаконов, между тем как снисходительный к его причуде взгляд приказчицы с любопытством направлялся на эту рассеянную руку, плавающую за предмет, еще даже не названный.

«Дайте мне, пожалуйста, миндального мыла», — сказал он с достоинством.

Затем, все тем же взлетающим шагом, он воротился к дому. Там, на панели, не было сейчас никого, ежели не считать трех васильковых стульев, сдвинутых, казалось, детьми. Внутри же фургона лежало небольшое коричневое пианино, так связанное, чтобы оно не могло встать со спины, и поднявшее кверху две маленьких металлических подошвы. На лестнице он встретил валивших вниз, коленями врозь, грузчиков, а пока звонил у двери новой квартиры, слышал, как наверху переговариваются голоса, стучит молоток. Впустив его, квартирохозяйка сказала, что положила ключи к нему в комнату. У этой крупной, хищной немки было странное имя; мнимое подобие творительного падежа придавало ему звук сентиментального заверения: ее звали Clara Stoboy.

А вот продолговатая комната, где стоит терпеливый чемодан... и тут разом все переменялось: не дай Бог кому-либо знать эту ужасную унижительную скуку, — очередной отказ принять гнусный гнет очередного новоселья, невозможность жить на глазах у совершенно чужих вещей, неизбежность бессонницы на этой кушетке!

Некоторое время он стоял у окна: небо было простоквашей; изредка в том месте, где плыло слепое солнце, появлялись опаловые ямы, и тогда внизу, на серой кругловатой крыше фургона, страшно скоро стремились к бытию, но, недовоплотившись,

растворялись тонкие тени липовых ветвей. Дом напротив был наполовину в лесах, а по здоровой части кирпичного фасада оброс плющом, лезшим в окна. В глубине прохода, разделявшего палисадник, чернелась вывеска подвальной угольни*.

Само по себе все это было видом, как и комната была сама по себе; но нашелся посредник, и теперь этот вид становился видом из этой именно комнаты. Прозревши, она лучше не стала. Палевые в сизых тюльпанах обои будет трудно претворить в степную даль. Пустыню письменного стола придется возделывать долго, прежде чем взойдут на ней первые строки. И долго надобно будет сыпать пепел под кресло и в его пахи, чтобы сделалось оно пригодным для путешествий.

Хозяйка пришла звать его к телефону, и он, вежливо сутулясь, последовал за ней в столовую. «Во-первых, — сказал Александр Яковлевич, — почему это, милостивый государь, у вас в пансионе так неохотно сообщают ваш новый номер? Выехали, небось, с треском? А во-вторых, хочу вас поздравить... Как — вы еще не знаете? Честное слово?» («Он еще ничего не знает», — обратился Александр Яковлевич другой стороной голоса к кому-то вне телефона). «Ну, в таком случае возьмите себя в руки и слушайте, я буду читать: “Только что вышедшая книга стихов до сих пор неизвестного автора, Федора Годунова-Чердынцева, кажется нам явлением столь ярким, поэтический талант автора столь несомненен...” — Знаете что, оборвем на этом, а вы приходите вечером к нам, тогда получите всю статью. Нет, Федор Константинович дорогой, сейчас ничего не скажу, ни где, ни что, — а если хотите знать, что я сам думаю,

* Угольный сарай, место для складки угля (Словарь Даля).

то не обижайтесь, но он вас перехваливает. Значит, придете? Отлично. Будем ждать».

Вешая трубку, он едва не сбил со столика стальной жгут с карандашом на привязи; хотел его удержать, но тут-то и смахнул; потом въехал бедром в угол буфета; потом выронил папиросу, которую на ходу тащил из пачки; и наконец, зазвенел дверью, не рассчитав размаха, так что проходившая по коридору с блюдцем молока фрау Стобой холодно произнесла: упс! Ему захотелось сказать ей, что ее палевое в сизых тюльпанах платье прекрасно, что пробор в гофрированных волосах и дрожащие мешки щек сообщают ей нечто жорж-сандово-царственное; что ее столовая верх совершенства; но он ограничился сияющей улыбкой и чуть не упал на тигровые полоски, не поспевшие за отскочившим котом, но в конце концов он никогда и не сомневался, что так будет, что мир, в лице нескольких сот любителей литературы, покинувших Петербург, Москву, Киев, немедленно оценит его дар.

Перед нами небольшая книжка, озаглавленная «Стихи» (простая фрачная ливрея, ставшая за последние годы такой же обязательной, как недавние галуны — от «лунных грез» до символической латыни), содержащая около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме, — детству. При набожном их сочинении автор, с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой, он позволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая изысканность. Одновременно ему приходилось делать большие усилия, как для того, чтобы не утратить

руководства игрой, так и для того, чтобы не выйти из состояния игрища. Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак прозрачной прозы — вот определения, кажущиеся нам достаточно верными для характеристики творчества молодого поэта. Так, запершись на ключ и достав свою книгу, он упал с ней на диван, — надо было перечитать ее тотчас, пока не остыло волнение, дабы заодно проверить доброкачественность этих стихов и предугадать все подробности высокой оценки, им данной умным, милым, еще неизвестным судьей. И теперь, пробуя и апробируя их, он совершал работу, как раз обратную давешней, когда мгновенной мыслью пробежал книгу. Теперь он читал как бы в кубе, выхаживая каждый стих, приподнятый и со всех четырех сторон обвеваемый чудным, рыхлым деревенским воздухом, после которого так устаешь к ночи. Другими словами, он, читая, вновь пользовался всеми материалами, уже однажды собранными памятью для извлечения из них данных стихов, и все, все восстанавливал, как возвратившийся путешественник видит в глазах у сироты не только улыбку ее матери, которую в юности знал, но еще аллею с желтым просветом в конце, и карий лист на скамейке, и всё, всё. Сборник открывался стихотворением «Пропавший мяч», — и начинал накрапывать дождик. Тяжелый облачный вечер, один из тех, которые так к лицу нашим северным елям, сгустился вокруг дома. Аллея на ночь возвратилась из парка, и выход затянулся мглой. Вот створы белых ставней отделили комнату от внешней темноты, куда уже было переправились, пробно расположившись на разных высотах в беспомощно черном саду, наиболее светлые части комнатных предметов. Теперь недолго до сна. Игры становятся вялыми и не совсем добрыми. Она стара и му-

чительно кряхтит, когда в три медленных приема опускается на колени.

Мяч закатился мой под нянин
комод, и на полу свеча
тень за концы берет и тянет
туда, сюда, — но нет мяча.
Потом там кочерга кривая
гуляет и грохочет зря —
и пуговицу выбивает,
а погода полсухаря.
Но вот выскакивает сам он
в трепещущую темноту, —
через всю комнату, и прямо
под неприступную тахту.

Почему мне не очень по нутру эпитет «трепещущую»? Или тут колоссальная рука пуппенмейстера* вдруг появилась на миг среди существ, в рост которых успел уверовать глаз (так что первое ощущение зрителя по окончании спектакля: как я ужасно вырос)? А ведь комната действительно трепетала, и это мигание, карусельное передвижение теней по стене, когда уносится огонь, или чудовищно движущий горбами теневой верблюд на потолке, когда няня боится с увалистой и валкой камышовой ширмой (растяжимость которой обратно пропорциональна ее устойчивости), — все это самые ранние, самые близкие к подлиннику из всех воспоминаний.

* *Театр. кукловод (нем.).*